

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

ЧЕЛОВЕК-ЗВЕРЬ

Ругон-Маккары

Эмиль Золя

Человек-зверь

«ФТМ»

1890

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Золя Э.

Человек-зверь / Э. Золя — «ФТМ», 1890 — (Ругон-Маккары)

ISBN 978-5-17-146228-4

Жену начальника почтовой станции Северину Рубо терзают воспоминания о хитроумном преступлении, в котором она поневоле стала соучастницей своего нелюбимого мужа. Полиция так и не нашла виновных, но отныне семейная жизнь становится для молодой женщины совершенно невыносима. Именно тогда ее внимание привлекает машинист локомотива Жак Лантье. Он хорош собой, не лишен обаяния, выгодно отличается от товарищей по высокооплачиваемой профессии чистым и аскетическим, почти монашеским образом жизни. Он кажется прямой противоположностью мелочному, жестокому и подлому Рубо. Однако, пытаясь соблазнить Жака, Северина и не подозревает, что играет со смертью. Ведь Лантье – маньяк, из последних сил пытающийся сдержать всепоглощающую жажду убивать красивых женщин...

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-146228-4

© Золя Э., 1890

© ФТМ, 1890

Содержание

I	5
II	22
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Эмиль Золя

Человек-зверь

I

Войдя в комнату, Рубо положил на стол фунтовый хлебец, мясной пирог и поставил бутылку белого вина. Тетушка Виктория, отправляясь утром на свой пост, должно быть, подбросила в печь слишком много угля, и жара была удушающая. Открыв окно, помощник начальника станции облокотился на подоконник.

Комната помещалась в последнем доме по правой стороне Амстердамского тупика, в высоком доме, где Компания Западных железных дорог поселила некоторых из своих служащих. Окно, расположенное на шестом этаже, в углу под крутым скатом крыши, выходило на станцию, которая глубоко вклинивалась в Европейский квартал; внезапно представившееся взору свободное пространство сливалось в тот послеполуденный час сырого февральского дня с серым небом, освещенным скудными лучами солнца, и казалось от этого еще шире.

Впереди, в тусклом свете, едва проступали зыбкие контуры домов на Римской улице. Слева зияли огромные арки крытых платформ с закопченными стеклянными навесами: сюда прибывали поезда дальнего следования; а неподалеку от этих громадных платформ, по другую сторону зданий станционной почты и кубовой, располагались другие платформы, поменьше, — отсюда поезда шли в Аржантей, в Версаль и по Окружной дороге; справа Европейский мост стальной лентой рассекал горизонт, а затем глазу вновь представляли железнодорожные пути, уходявшие в Батиньольский туннель. Внизу, под самым окном, веерообразно устремлялись в разные стороны выбегавшие из-под моста три двойные железнодорожные колеи; от них ответвлялись бесчисленные, переплетавшиеся друг с другом металлические ленты и пропадали под навесами платформ. Три будки стрелочников перед арками моста были окружены маленькими голыми садиками. А над беспорядочным скоплением вагонов и паровозов, загромождавших пути, огромный сигнальный круг красным пятном выделялся в блеклом свете дня.

С минуту Рубо с интересом глядел на это зрелище, сравнивая его с тем, что видел на станции Гавр. Всякий раз, когда ему доводилось на денек попадать в Париж и он приходил сюда, в комнату тетушки Виктории, лихорадочный ритм железной дороги захватывал его. С прибытием поезда из Манты на крытой платформе главного пути все пришло в движение; Рубо наблюдал за маневровым паровозом, небольшим, медлительным трехосным паровиком с тендером на маленьких колесах, который начал разборку поезда и сновал взад и вперед, увозя вагоны на запасные пути. Другой паровоз — мощный локомотив курьерского поезда с двумя огромными ведущими колесами — пока стоял в стороне, выбрасывая клубы густого черного дыма, медленно поднимавшегося в неподвижном воздухе. Потом вниманием Рубо завладел поезд, отправлявшийся в три часа двадцать пять минут на Кан; пассажиры уже сидели в вагонах, но паровоз еще не подали. Скрытый от взоров, он стоял по ту сторону Европейского моста, и слышны были только его частые негромкие свистки: он настойчиво требовал освободить путь и, казалось, терял терпение. Раздался сигнал, коротким свистком паровоз подтвердил, что понял. Перед тем как он тронулся, наступила минутная тишина, затем из продувательных кранов, оглушительно шипя, вырвался пар и стал расстилаться над самыми рельсами. И тогда Рубо увидел, как от моста покатилося, все разрастаясь и кружась, точно снежный вихрь, белое облако, окутавшее железные фермы. А на фоне белого тумана возникала и ширилась черная пелена — копоть, вылетающая из трубы другого паровоза. Из-за этой черно-белой завесы глухо доносились продолжительные гудки, возгласы, скрежет поворотного круга. Затем образовался

просвет, и в нем показались два мчавшихся в противоположных направлениях поезда: один шел из Версаля в Париж, другой – из Парижа в Отейль.

Рубо уже собирался отойти от окна, как вдруг его кто-то окликнул. Посмотрев вниз, он увидел на балконе пятого этажа молодого человека лет тридцати, Анри Доверня, обер-кондуктора, жившего тут вместе с отцом, помощником начальника станции по поездкам дальнего следования, и двумя сестрами, Клер и Софи, прелестными блондинками восемнадцати и двадцати лет; всегда веселые, они вели хозяйство на шесть тысяч франков, которые приносили домой отец и брат. Вот и теперь слышно было, как старшая смеялась, младшая пела, а канарейки в клетке вторили ей звонкими руладами.

– Как, господин Рубо, оказывается, вы в Париже?.. Ах да, это, верно, по поводу вашего столкновения с супрефектом!

Вновь облокотившись о подоконник, помощник начальника станции объяснил, что ему пришлось выехать из Гавра утром, курьерским поездом в шесть сорок. В Париж он прибыл по приказу начальника службы эксплуатации и получил здесь страшнейший нагоняй. Спасибо еще не лишился должности.

– А госпожа Рубо? – спросил Анри.

Жена тоже пожелала приехать за покупками. Рубо ее и ждет здесь, в этой комнате, ключи от которой тетушка Виктория дает им всякий раз, когда они приезжают в Париж; и пока славная женщина дежурит внизу, в туалете, оба спокойно завтракают вдвоем. Утром они слегка перекусили в Манте, а в столице решили прежде всего покончить с делами. Но пробило уже три часа, и он просто умирает с голоду.

Из учтивости Анри задал еще один вопрос:

– Заночуете в Париже?

Нет, нет! Они вечером возвращаются в Гавр, курьерским поездом в шесть тридцать. Как же, дадут тебе отдохнуть! Приглашают только для того, чтобы хорошенько намылить голову, а потом – убирайся восвояси!

Железнодорожники обменялись понимающими взглядами и покачали головами. Они больше не слышали друг друга: фортепьяно, точно взбесившись, разразилось оглушительными звуками. Сестры, должно быть, дружно колотили по клавишам, подзадоривая канареек и громко смеясь. Тогда молодой человек, в свою очередь развеселившись, поклонился Рубо и ушел в комнату; помощник начальника станции помедлил еще несколько мгновений, продолжая смотреть на балкон, где царил задорное веселье. Потом, подняв глаза, он снова увидел паровоз – продувательные краны были закрыты, и стрелочник направил его к составу, отправлявшемуся в Кан. Последние хлопья белого пара исчезали среди густых клубов черного дыма, грязнивших небосклон. Рубо отошел в глубь комнаты.

Часы с кукушкой показывали двадцать минут четвертого, и он в отчаянье развел руками. Какого черта Северина так запаздывает? Попав в магазин, она не спешит оттуда выйти. Голод терзал его, и, чтобы отвлечься, он решил накрыть на стол. Рубо чувствовал себя как дома в этой просторной с двумя окнами комнате, служившей одновременно спальней, столовой и кухней, где стояла мебель орехового дерева – кровать с красными занавесками из дешевой материи, буфет с горкой для посуды, круглый стол, нормандский шкаф. Он достал из буфета салфетки, тарелки, несколько вилок и ножей, два бокала. Все сверкало чистотой, белоснежная скатерть радовала глаз, и Рубо, влюбленный в жену, забавлялся, точно ребенок, занятый игрою в обед, и добродушно посмеивался, предвкушая, как она распахнет дверь и разразится звонким смехом. Положив на тарелку мясной пирог и пододвинув к ней бутылку вина, он озабоченно поискал что-то глазами. Потом, вспомнив, быстро достал из кармана два свертка – небольшую коробку сардин и кусок грюэрского сыра.

Часы пробили половину четвертого. Рубо шагал из угла в угол, прислушиваясь к малейшему шуму на лестнице. Проходя в томительном ожидании мимо зеркала, он остановился и

взглянул на себя. Нет, он ничуть не постарел, ему уже под сорок, а ярко-рыжие выющиеся волосы все такие же. И золотистая окладистая борода не поредела. Рубо был среднего роста, но обладал необычайной силой; он себе нравился и с удовольствием рассматривал в зеркале свою немного приплюснутую голову с низким лбом и широким затылком, круглое румяное лицо, освещенное большими блестящими глазами. Сросшиеся брови образовывали на лбу прямую линию, характерную для ревнивцев. Он был старше жены на пятнадцать лет и потому частенько останавливался перед зеркалом, но собственное отражение успокаивало его.

На лестнице раздались шаги, Рубо подбежал к двери и приоткрыл ее. Нет, то возвратилась соседка, продавщица газет на вокзале. Он повернулся, подошел к буфету и принялся разглядывать шкатулку, украшенную ракушками. Рубо хорошо знал эту шкатулку, Северина подарила ее своей кормилице, тетушке Виктории. Этой вещицы оказалось достаточно, чтобы Рубо вспомнил все обстоятельства своей женитьбы. Подумать только, скоро уже три года!.. Рубо родился на юге Франции, в Плассане, в семье возчика; он возвратился с военной службы с нашивками сержанта, долгое время был дорожным мастером на станции в Манте, а затем перешел на станцию Барантен старшим мастером; там-то он и познакомился со своей дорогой женушкой, она приезжала туда к поезду из Дуанвиля вместе с мадемуазель Бертой, дочерью председателя суда Гранморена. Северина Обри была всего-навсего младшей дочерью садовника, служившего до конца своей жизни у Гранморена; однако председатель суда, ее крестный отец и опекун, необыкновенно баловал девочку, сделал подругой собственной дочери и даже поместил обеих в один и тот же пансион в Руане; к тому же в Северине было столько врожденного благородства, что Рубо долго лишь вздыхал по ней и смотрел на девушку с тем восторгом, с каким пообтесавшийся мастеровой смотрит на изящную и драгоценную безделушку. Северина была его первой и единственной любовью. Он так страстно желал обладать ею, что не будь у нее ни гроша, он и тогда женился бы; когда Рубо отважился наконец сделать предложение, то действительность превзошла его мечты: Северина ко всему еще принесла приданое в десять тысяч франков, а председатель суда, в ту пору уже вышедший в отставку и ставший членом административного совета Компании Западных железных дорог, пообещал ему покровительство. Буквально на следующий день после свадьбы Рубо был назначен помощником начальника станции в Гавре. Надо сказать, он и до того считался хорошим работником, знающим свое дело, пунктуальным, добросовестным, правда несколько ограниченным, но честным; все эти отличные качества могли объяснить, почему его просьба о повышении была так быстро удовлетворена. Однако Рубо предпочитал думать, что всем обязан жене. Он ее обожал.

Открыв сардины, Рубо окончательно потерял терпение. Они условились встретиться в три часа. Где она может быть? Пусть только скажет, будто убила целый день на покупку пары ботинок и полдюжины сорочек! Он опять зашагал по комнате и, проходя мимо зеркала, увидел свои ошетилившиеся брови и суровую складку на лбу. В Гавре он никогда не ревновал Северину. Но в Париже ему мерещились всякие опасности, женские уловки, плутовство. Кровь прилиwała к его голове, а кулаки бывшего мастерского сжимались с такой же силой, как в те времена, когда он толкал вагоны. И Рубо превращался в необузданного зверя, способного в припадке слепой ярости растерзать жену.

Дверь отворилась, на пороге возникла Северина, радостная и веселая.

– Вот и я... Ты уж, верно, решил, что я пропала.

В двадцать пять лет – самом расцвете молодости – Северина казалась высокой, стройной, необыкновенно гибкой и довольно полной, несмотря на тонкую кость. На первый взгляд ее нельзя было назвать красивой: продолговатое лицо, крупный рот, в котором сверкали великолепные зубы. Но в ее облике таилось что-то пленительное – прелесть была в необычайном сочетании огромных голубых глаз и густых черных волос.

Так как муж, ничего не отвечая, пристально смотрел на Северину хорошо ей знакомым мутным, недоверчивым взглядом, она поспешила прибавить:

– О, я так бежала... Вообрази, в омнибус невозможно сесть. А на извозчика я поспешила – и всю дорогу бежала. Смотри, я совершенно мокрая.

– Ну нет, – резко сказал Рубо, – тебе не удастся убедить меня, будто ты весь день провела в магазинах.

Точно шаловливый ребенок, Северина обняла мужа за шею и закрыла ему рот красивой пухлой ручкой:

– Гадкий, гадкий, замолчи!.. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю.

Все ее существо излучало такую искренность, она выглядела такой чистой и прямодушной, что он неистово сжал жену в объятиях. Так всегда заканчивались сцены, вызванные его подозрительностью. Северина послушно позволяла ласкать себя. Муж осыпал ее поцелуями, но она не отвечала на них; она неизменно вела себя, как взрослый ребенок, покорный, но равнодушный, проявляла к нему дочернюю привязанность, однако Рубо не удавалось разбудить в ней чувственность, и это наполняло его смутным беспокойством.

– Стало быть, ты очистила все магазины?

– Вот именно! Я тебе сейчас расскажу... Но прежде поедем. До чего я голодна!.. Да, тебя ждет маленький подарок. А ну, повтори: «Где мой маленький подарок?»

Прижавшись щекой к его лицу, она весело смеялась. Потом засунула правую руку в карман, что-то нащупала там, но не вынула.

– Повтори быстрее: «Где мой маленький подарок?»

Он тоже добродушно засмеялся и наконец проговорил:

– Где мой маленький подарок?

Это был нож, она купила его взамен того, который он потерял две недели назад и до сих пор оплакивал. Рубо пришел в восторг, он не устал восхищаться новым ножом с рукояткой из слоновой кости и сверкающим лезвием. Он немедленно пустит его в дело! Радость мужа доставила Северине большое удовольствие; шутя она потребовала от него мелкую монету, чтобы их дружба не была рассечена.

– А теперь за еду, за еду! – повторяла она. – Нет, нет, прошу тебя, не закрывай окна. Мне так жарко!

Она подошла к мужу, прильнула к его плечу и простояла несколько мгновений у окна, глядя на раскинувшуюся внизу станцию. Дым ненадолго рассеялся, медный диск солнца садился в тумане позади домов Римской улицы. Маневровый паровоз подавал сформированный состав, отправлявшийся на Мант в четыре двадцать пять. Когда поезд оказался под навесом крытой платформы, паровоз отцепили. Откуда-то издалека, должно быть, из депо Окружной дороги, доносился стук буферов: по-видимому, спешно сцепляли еще несколько вагонов. На переплетении рельсовых путей одиноко высился мощный локомотив пассажирского поезда; на нем виднелись силуэты машиниста и кочегара, черных от сажи; локомотив, казалось, задыхался от усталости, и тонкая струйка пара выходила из его клапана. Он ждал, когда откроют путь и можно будет возвратиться в депо Батиньоль. Красный диск щелкнул и исчез. Паровоз тронулся.

– До чего ж они веселы, эти сестры Довернь! – проговорил Рубо, отходя от окна. – Слышишь, как колотят по клавишам?.. Я только что видел Анри, он просил тебе кланяться.

– За стол, за стол! – крикнула Северина.

Она накинулась на сардины и с жадностью поглощала их. Ведь легкий завтрак в Манте был уже так далек! Приезжая в Париж, Северина точно пьянела. Беготня по шумным улицам, покупки в магазинах, где шла дешевая распродажа товаров, наполняли ее радостным трепетом и лихорадочным волнением. Весною она оставляла в столице все сделанные за зиму сбережения, предпочитала все покупать сразу, утверждая, что так экономнее, не приходится лишний раз тратиться на дорогу. Продолжая есть с аппетитом, Северина без умолку болтала. Слегка конфузясь и краснея, она в конце концов призналась, что истрачено больше трехсот франков.

– Черт побери! – пробормотал неприятно удивленный Рубо. – Ты слишком расточительна для жены помощника начальника станции!.. Собиралась ведь купить только полдюжины сорочек и пару ботинок?

– О милый, это редкий случай, мне попался прелестный шелк в полоску! И шляпка до того изящная, просто мечта! Готовые юбки с кружевными оборками... И все почти даром, в Гавре я заплатила бы вдвое дороже... Когда они мне пришлют, ты сам увидишь!

Он невольно рассмеялся – так хороша она была в порыве радости, так трогательна в своем смущении. К тому же было так уютно за этим бесхитростным завтраком вдвоем, в уединенной комнате. Куда лучше, чем в ресторане. Северина, которая обычно пила только воду, теперь, не отдавая себе отчета, то и дело подносила к губам бокал с вином. С сардинами было покончено, и супруги принялись резать новым ножом мясной пирог. То был поистине великолепный нож, и резал он на славу!

– А как твои дела? – спросила Северина. – Ты позволяешь мне болтать, а сам даже не говоришь, чем все кончилось с этим супрефектом?..

И тогда он подробно передал ей, как его встретил начальник службы эксплуатации. Да, головомойка была по всем правилам! Он, конечно, защищался, рассказал всю правду, ведь этот ничтожный фат, супрефект, вздумал ехать со своей собакой в вагоне первого класса, хотя для охотников отведен особый вагон второго класса; между ними разгорелась ссора, и оба в выражениях не стеснялись. Начальник, правда, признал, что Рубо имел полное право настаивать на соблюдении инструкции, но пришел в гнев от сказанных им слов: «Не вечно вы будете господами». Поговаривали, будто Рубо республиканец. Дебаты при открытии сессии палаты депутатов 1869 года и тайный страх перед приближавшимися выборами в парламент делали правительство особенно подозрительным. И если бы не хороший отзыв председателя суда Гранморена, он, Рубо, непременно лишился бы места. Все-таки ему пришлось принести извинение в письменной форме: так посоветовал Гранморен, который сам же и набросал письмо. Прервав его, Северина воскликнула:

– Ага! Значит, я была права, написав ему! И хорошо, что мы зашли туда нынче утром, перед тем как тебе отправиться к начальству... Я не сомневалась, что он вызовет нас из беды.

– Да, старик к тебе очень привязан, – заметил Рубо. – И пользуется большим весом в Компании Железных дорог... Но, скажи на милость, что толку быть на хорошем счету? Они никогда не скупилась на похвалы по моему адресу: правда, говорят, будто я недостаточно энергичен, но зато дисциплинирован, старателен и трудолюбив. А все же, моя милая, не будь ты моей женою и не заступись поэтому за меня Гранморен, я б лишился должности и меня в наказание отправили бы на какую-нибудь захолустную станцию.

Северина устала в пространство и прошептала, словно думая вслух:

– Да, он и впрямь пользуется большим весом.

Наступило молчание; перестав есть, Северина по-прежнему смотрела вдаль расширенными глазами. Должно быть, она вспоминала дни детства, проведенного в замке Дуанвиль, в четырех лье от Руана. Матери своей она не помнила. Отец Северины, садовник Обри, умер, когда ей шел тринадцатый год; и тогда председатель суда, к тому времени уже овдовевший, взял девочку в дом; там она и росла вместе с его дочерью Бертой под присмотром сестры Гранморена, г-жи Боннеон, вдовы фабриканта, которой ныне принадлежит этот замок. Берта была старше подруги на два года, она вышла замуж через полгода после Северины за некоего г-на де Лашене, советника руанского суда, тщедушного человечка с желтым лицом. Гранморен, надо сказать, сделал завидную карьеру: все последнее время он был председателем суда в Руане и только год назад вышел в отставку. Он родился в 1804 году, после событий 1830 года стал товарищем прокурора в городе Динь, затем в Фонтенбло и в Париже; впоследствии был прокурором в Труа и в Ренне и, наконец, занял пост первого председателя суда в Руане. Владелец нескольких миллионов, Гранморен начиная с 1855 года неизменно входил в состав департаментского

совета, в день выхода в отставку он получил командорский крест ордена Почетного легиона. С детских лет Северина помнила его таким же, каким он оставался поныне: коренастый, плотный, рано поседевший человек; его некогда светлые волосы приобрели желтовато-белый оттенок и торчали жесткой щеткой, усов он не носил, но коротко подстриженная борода окаймляла квадратное лицо, которому мясистый нос и холодные синие глаза придавали суровое выражение. Гранморен был крут в обращении, и окружающие трепетали перед ним.

Рубо спросил:

– Послушай, о чем ты думаешь?

Потом, повысив голос, повторил вопрос.

Северина испуганно вздрогнула, будто ее захватили врасплох.

– Да ни о чем.

– Ты даже есть перестала, уже сыта?

– Нет-нет... Сейчас увидишь.

Осушив бокал, она докончила пирог, лежавший на ее тарелке. Но тут возникла суматоха: у них не осталось ни крошки хлеба, и сыр есть было не с чем. Раздались веселые восклицания, послышался смех, супруги кинулись к буфету тетушки Виктории, перевернули там все вверх дном и наконец обнаружили завалявшуюся черствую горбушку. Хотя окно оставалось открытым, было по-прежнему жарко, и молодая женщина, сидевшая спиной к печке, еще больше раскраснелась; необычный и шумный завтрак усилил ее возбуждение. Рубо снова подумал о Гранморене: да, тетушка Виктория тоже должна на него молиться! Девушкой ее соблазнили, ребенок у нее умер, и она сделалась кормилицей Северины, чье появление на свет стоило жизни матери; позднее Виктория вышла замуж за кочегара Компании Западных железных дорог; в Париже она бедствовала: муж пропивал все деньги, и она зарабатывала жалкие гроши шитьем; случайно встретив Северину, тетушка Виктория возобновила старое знакомство, и председатель суда оказал ей покровительство – определил на выгодное местечко уборщицы в роскошном дамском туалете для пассажиров первого класса. Куда уж лучше! Правда, Компания платит ей всего сто франков в год, но вместе с чаевыми у нее набирается до тысячи четырехсот, не говоря уже о бесплатном жилье и топливе. Словом, она прекрасно устроена. Рубо прикинул, что если бы муж тетушки Виктории, кочегар Пеке, отдавал жене свое жалованье, которое вместе с доплатами достигало двух тысяч восьмисот франков в год, а не пропивал бы его на линии, чета ежегодно располагала бы суммой в четыре тысячи франков, – а это ведь в два раза больше, чем имеет он, помощник начальника станции в Гавре!

– Спору нет, не всякая согласится служить в уборных, – пробормотал он вслух. – Но занятие это ничуть не хуже другого.

Между тем супруги утолили голод и теперь вяло жевали сыр, отрезая от него тонкие ломтики, чтобы растянуть удовольствие. Они лениво перебрасывались словами.

– Да, я все хочу спросить! – воскликнул Рубо. – Почему ты не захотела погостить два-три дня в Дуанвиле, куда тебя приглашал старик?

Все еще пребывая в блаженной полудремоте после завтрака, Рубо вдруг вспомнил об утреннем посещении особняка Гранморена на улице Роше, возле самого вокзала; перед его глазами опять возник большой строгий кабинет, а в ушах зазвучал голос председателя суда, сообщившего, что он собирается на следующий день в Дуанвиль. Затем, будто следуя внезапно зародившейся мысли, Гранморен сказал, что, пожалуй, поедет вместе с супругами курьерским поездом в шесть тридцать вечера, и предложил крестнице отправиться с ним в Дуанвиль, так как его сестра уже давно хочет ее повидать. Однако молодая женщина приводила всевозможные доводы, не позволявшие ей, как она уверяла, принять это предложение.

– Если хочешь знать, – продолжал Рубо, – я не вижу в том ничего дурного. Ты могла бы там погостить до четверга, а я бы и без тебя управился... Ведь в нашем положении мы в них нуждаемся, не так ли? Вряд ли стоило отвечать отказом на подобное радушие, тем более что

его это, видно, не на шутку огорчило... Вот почему я и уговаривал тебя, пока ты не дернула меня за рукав. Тогда я принял твою сторону, но так ничего и не понял... Скажи, почему ты заупрямилась?

В глазах Северины заметался испуг, у нее вырвался нетерпеливый жест.

– Что ж, мне тебя одного оставлять?

– Ну, это не причина... Мы три года женаты, за это время ты дважды ездила в Дуанвиль и проводила там по неделе. Ничего тебе не мешало поехать туда в третий раз.

Замешательство молодой женщины возрастало, она отвернулась.

– Не хочу – и все! Не заставляй меня поступать так, как мне не хочется.

Рубо развел руками, словно желая сказать, что он ее ни к чему не принуждает. Но все-таки прибавил:

– Постой! Ты от меня что-то скрываешь... Уж не госпожа ли Боннеон в последний раз плохо тебя приняла?

Нет! Г-жа Боннеон всегда с ней ласкова. И какая это приятная женщина – высокая, статная, с чудесными русыми волосами, она и до сих пор еще хороша, хотя ей уже пятьдесят пять лет! Поговаривали, что с тех пор, как она овдовела, да и раньше, сердце ее частенько бывало занято. В Дуанвиле ее просто обожают, она превратила свой замок в обитель радости, у нее бывает цвет руанского общества, особенно судейские чиновники. Именно среди них у г-жи Боннеон больше всего друзей.

– Тогда, значит, Лашене с тобой холодно обошлись?

Разумеется, выйдя замуж за г-на де Лашене, Берта перестала быть для нее такой близкой подругой, как раньше. Бедняжка Берта, она несколько не стала лучше, у нее все такое же невыразительное лицо с красным носом. В Руане дамы, правда, превозносят ее благовоспитанность. Да и такой муж, как у нее, – безобразный, сухой, жадный, – конечно, не украшает женщину, только делает хуже. Но нет, Берта держалась со своей прежней подругой вполне радушно, и та ни в чем не могла ее упрекнуть.

– Стало быть, тебе не по душе сам старик?

Северина, до сих пор отвечавшая бесстрастно, ровным голосом, тут потеряла терпение:

– Он? Какой вздор! – И продолжала раздраженно, отрывисто: – Его там почти не видать. У него в парке отдельный флигель с выходом на пустынную улочку. Он уходит, приходит, и никто об этом даже не подозревает. Сестра Гранморена и та не знает, когда именно он приедет. Он выходит в Барантене, нанимает коляску и прибывает в Дуанвиль ночью; случается так, что он по нескольку дней неведомо для всех живет в своем флигеле. Уж он-то меньше всего стесняется.

– Я заговорил о нем только потому, что ты раз двадцать рассказывала мне, будто в детстве его до смерти боялась.

– Скажешь тоже – до смерти! И вечно-то ты преувеличиваешь... Что правда, то правда: он никогда не улыбался. Уставится на тебя своими глазищами, волей-неволей голову опустишь. Люди перед ним терялись, не могли и слова вымолвить, до того он их подавлял своим суровым и ученым видом. Но меня он никогда не бранил, я всегда чувствовала, что он питает ко мне слабость...

Голос ее снова зазвучал тише, а глаза смотрели куда-то вдаль.

– Помню... девочкой я часто играла с подружками в аллеях парка, и, когда он показывался, все прятались, даже его дочь Берта, – она вечно боялась провиниться. Но я, я спокойно ждала его приближения. Проходя, он мимоходом бросал взгляд на мою улыбающуюся мордочку и ласково трепал по щеке... Позднее, когда мне уже было лет шестнадцать, Берта, желая чего-нибудь добиться от него, всякий раз прибегала к моей помощи. Говоря с ним, я никогда не опускала взгляда, хотя его глаза так и буравили меня. Но я на это не обращала внимания, была уверена, что он ни в чем не откажет!.. О да, я помню, все помню! Любой укромный уголок

в парке, любую комнату в замке, любой поворот коридора я живо представляю с закрытыми глазами.

Северина умолкла и смежила веки; и по ее возбужденному, чуть припухшему лицу, казалось, пробежал трепет – точно отблеск былых воспоминаний, о которых она никогда не говорила. Так она просидела несколько мгновений, губы ее слегка дрожали, как будто нервный тик сводил ей рот.

– Ничего не скажешь, старик всегда благоволил к тебе, – заговорил Рубо, раскуривая трубку. – Не только воспитал как барышню, но и очень разумно распорядился твоими деньгами, а перед нашей свадьбой даже изрядно округлил капиталец... Ну, и потом, после его смерти, тебе кое-что перепадет, он сам об этом при мне говорил.

– Да, – прошептала Северина, – дом в Круа-де-Мофра, там теперь через усадьбу проходит железная дорога. В те годы мы все нередко проводили в нем неделю-другую... Впрочем, я не надеюсь, уж Лашене, конечно, постараются, чтобы он мне ничего не оставил. Да и по мне лучше, чтобы он мне ничего не завещал, ничего!

Последние слова она произнесла так пылко, что Рубо вынул трубку изо рта и с удивлением уставился на нее.

– Ты что, спятила? Говорят, у председателя несколько миллионов, и его не убудет, если он упомянет в завещании свою крестницу. Никого это не поразит, а нам очень пригодится.

В голову ему пришла неожиданная мысль, и он расхохотался.

– Не опасаясь ли ты часом, что тебя сочтут его дочерью?.. Ведь ты сама знаешь: хоть у старика и неприступный вид, о нем бог весть что рассказывают. Говорят, даже при жизни жены он волочился за всеми служанками. Болтают, что и сейчас еще он не прочь задрать женщине юбку... Черт побери, может, ты и вправду его дочь?

Северина резко поднялась, лицо ее пылало, под тяжелой копной черных волос испуганно метались голубые глаза.

– Дочь? Его дочь?.. Не желаю я, чтоб ты так шутил, слышишь! Разве я могу быть его дочерью? Разве я на него похожа?.. Ну, хватит, поговорим о чем-нибудь другом. В Дуанвиль я не поеду – и все! Предпочитаю возвратиться вместе с тобою в Гавр!

Рубо покачал головой и примирительно поднял руку. Хорошо, хорошо, если этот разговор действует ей на нервы... Он улыбнулся, никогда еще она не была такой раздраженной. Этому причина вино. Стремясь заслужить прощение, он взял со стола нож, заботливо вытер его и вновь стал им восторгаться; потом, желая показать, что нож острый, как бритва, принялся обрезать ногти.

– Уже четверть пятого, – пробормотала Северина, взглянув на стенные часы. – А у меня еще дела... Пора собираться.

Прежде чем навести порядок в комнате, она подошла к окну и облокотилась на подоконник, как бы желая окончательно прийти в себя. Тогда Рубо, отложив нож и трубку, встал из-за стола, подошел к жене и осторожно обнял ее. Держа жену в объятиях, он опустил подбородок на плечо Северины и щекой прижался к ее щеке. Так они стояли не шевелясь и смотрели в окно.

Внизу по-прежнему без устали сновали маленькие маневровые паровозы; их почти не было слышно – негромко стучали колеса, приглушенно звучали свистки – они напоминали проворных и ловких хозяек. Один паровичок, тащивший в депо несколько вагонов трувильского поезда, который только что расцепили, исчез под Европейским мостом. Миновав мост, он поравнялся с вышедшим из депо локомотивом: медные и стальные части могучей машины сверкали, она походила на свежего и молодцеватого путешественника, собравшегося в дорогу. Остановившись, локомотив двумя резкими короткими свистками потребовал у стрелочника путь, и тот сейчас же направил его к уже сформированному составу, ожидавшему под крытым навесом платформы дальнего следования. Это был поезд, отправлявшийся в Дьепп в четыре

часа двадцать пять минут. По платформе растекался торопливый поток пассажиров, дробно стучали тележки, груженные багажом, станционные рабочие вносили в вагоны грелки. Локомотив подошел вплотную к головному вагону, и тендер глухо ударился об него; старший сцепщик самолично завернул болт соединительного бруса. Небосклон над Батиньолеом потемнел; пепельно-серые сумерки окутали фасады зданий и медленно опускались на разбегавшиеся вее-ром пути; и в этом неясном сумеречном свете можно было различить, как вдали то и дело про-носились в разных направлениях пригородные поезда и поезда Окружной железной дороги. А над угрюмыми навесами огромных крытых платформ, над потемневшим Парижем плыли разорванные облака бурого дыма.

– Нет, нет, пусти, – пролепетала Северина.

Не говоря ни слова, он все сильнее и сильнее прижимал к себе жену, распалаясь теплотой ее юного тела. Стремясь высвободиться, Северина извивалась в его объятиях, исходящий от нее аромат пьянил его, и Рубо не помнил себя от страсти. Одним рывком он оттащил ее от окна и локтем захлопнул раму. Отыскал рот жены, изо всех сил впился губами в ее губы и понес к кровати.

– Нет, нет, ведь мы не у себя, – повторяла она. – Прошу тебя, только не в этой комнате!

Она и сама точно опьянела, от еды и выпитого вина у нее кружилась голова, к тому же она еще не вполне успокоилась после лихорадочной беготни по Парижу. Чересчур натоплен-ная комната, стол с остатками еды, их приезд, неожиданно превратившийся в какую-то увесе-лительную поездку, – все это зажигало в ней кровь, и дрожь пробегала по телу. И все же Севе-рина, сама толком не понимая почему, отказывалась, сопротивлялась, цепляясь за деревянную спинку кровати, испуганная и негодующая.

– Нет, нет, я не хочу.

Рубо, весь багровый, стискивал жену своими грубыми руками. Он дрожал от нетерпения и, казалось, был способен раздавить ее в объятиях.

– Глупышка, никто не узнает. Мы оправим постель.

Дома, в Гавре, Северина обычно с мягкой покорностью отдавалась ему после завтрака, когда он возвращался с ночного дежурства. Ей это, очевидно, не приносило удовольствия, однако она выказывала нежную снисходительность, благосклонно соглашалась доставить ему радость. Но такой – пылкой, трепещущей от чувственного желания – Рубо ее еще никогда не видел, и это буквально сводило его с ума. Всегда спокойные голубые глаза Северины казались темнее от черноты волос, крупный рот словно кровоточил на нежном овальном лице. То была незнакомая ему женщина. Почему она отказывается?

– Скажи почему? У нас есть время.

Вся во власти необъяснимой тревоги, раздираемая борьбой, в которой она сама себе не отдавала отчета, Северина издала вопль, исполненный такой тоски, что Рубо опомнился.

– Нет, нет, умоляю, отпусти меня!.. Я и сама не знаю, но задыхаюсь при одной мысли, что сейчас... Это невозможно.

Оба тяжело опустились на край кровати. Рубо провел рукой по лицу, словно стараясь унять сжигающий его огонь. Видя, что к мужу вернулось благоразумие, Северина ласково наклонилась и запечатлела на его щеке звонкий поцелуй, желая показать, что она все-таки его любит. Несколько мгновений они сидели так, в молчании, чтобы прийти в себя. Он взял ее левую руку и играл старинным золотым кольцом: эту золотую змейку с рубиновой головкой Северина всегда носила на том же пальце, что и обручальное кольцо. Она никогда с ней не расставалась.

– Моя змейка, – промолвила Северина, словно в забытии; ей казалось, что муж смотрит на кольцо, и она испытывала властную потребность говорить. – Он подарил мне это кольцо в Круа-де-Мофра, в день моего шестнадцатилетия.

Рубо удивленно поднял голову.

– Кто он? Старик?

Встретившись с глазами мужа, Северина словно очнулась от сна. Она почувствовала, как у нее холодеют щеки. Попыталась что-то сказать, но не могла – слова застревали в горле, точно на нее напал столбняк.

– Ты всегда говорила, – продолжал он, – будто это кольцо досталось тебе от матери.

В какое-то мгновение она еще могла отказаться от случайно оброненных в забытии слов. Ей достаточно было рассмеяться, сказать, что она просто дурачится. Но, не владея собой, не сознавая, зачем она это делает, Северина заупрямилась:

– Я никогда не говорила тебе, дорогой, что получила это кольцо от матери...

Рубо пристально взглянул на нее и, в свою очередь, побледнел.

– Что? Никогда не говорила? Да ты говорила это по крайней мере раз двадцать!.. Нет ничего худого в том, что старик подарил тебе кольцо. Он для тебя куда больше сделал... Но зачем было скрывать? Зачем было лгать и говорить о матери?

– Я ничего не говорила о матери, милый. Ты ошибаешься.

Нелепое упрямство! Северина сознавала, что губит себя, что муж видит ее насквозь, ей хотелось поправиться, вернуть назад сказанное, но было уже поздно: она чувствовала, что смятенный вид выдает ее с головой. Теперь у Северины похолодело уже все лицо, губы судорожно подергивались. Рубо был страшен, он внезапно побагровел, казалось, кровь вот-вот брызнет из его вен; схватив жену за руку, он в упор смотрел в ее испуганные и растерянные глаза, будто хотел прочесть в них то, о чем она не говорила вслух.

– Проклятье! – пробормотал он. – Проклятье!

Северину охватил страх; опустив голову, она прикрыла лицо рукой, ожидая удара. Всего лишь один факт, мелкий, жалкий, ничтожный, – она позабыла, что когда-то солгала мужу, – но вот всего несколько слов, и тайное стало явным! За какую-то минуту... Рубо швырнул жену поперек кровати и принялся избивать. За три года он не тронул ее и пальцем, а теперь жестоко колотил, ослепленный дикой яростью: животный порыв охватил этого силача, некогда передвигавшего вагоны.

– Проклятая шлюха! Ты с ним спала!.. Спала!.. Спала!..

Повторяя одно и то же слово, он все больше приходил в исступление и молотил кулаками, словно хотел вбить в нее это слово.

– Стариковские объедки, шлюха проклятая!.. Ты с ним спала!.. Спала!..

Он задыхался от бешенства, из горла вырывались какие-то свистящие звуки. И только тут он услышал, что она, изнемогая от побоев, упорно твердит: «Нет, нет...» Не видя иного средства защиты, она продолжала отрицать только для того, чтобы он ее не убил. И этот вопль отчаяния, эта упорная ложь окончательно лишили его рассудка.

– Признайся, ты с ним спала!

– Нет! Нет!

Он снова вцепился в нее, стал душить, не давая несчастной уткнуться лицом в одеяло. Он заставлял Северину глядеть ему прямо в глаза.

– Признайся, ты с ним спала!

Но тут ей удалось извернуться, вырваться от него, и она устремилась было к дверям. Одним прыжком Рубо настиг ее, занес кулак и, не помня себя, страшным ударом сбил с ног. Северина рухнула возле стола, он накинута на нее, схватил за волосы и прижал ее голову к полу. С минуту они неподвижно лежали так, лицом к лицу. В этой зловещей тишине особенно отчетливо были слышны взрывы смеха сестер Довернь и бравурная музыка, которая заглушала шум борьбы. Клер во все горло распевала детские хороводные песенки, а Софи барабанила по клавишам.

– Признайся, ты с ним спала!

Она больше не решалась отрицать и ничего не отвечала.

– Признайся, ты с ним спала, проклятая! Говори, а не то я из тебя кишки выпущу!

По его глазам Северина понимала, что он и впрямь способен убить ее. Падая, она успела заметить на столе раскрытый нож; теперь ей показалось, что муж потянулся к ножу, почудилось, будто сверкнуло лезвие. Северину охватило малодушие, ей все стало безразлично, хотелось только одного – чтобы все поскорее кончилось.

– Да, это правда, отпусти меня.

И тут началось самое отвратительное. Признание, которого он с таким неистовством добивался, ожгло его, как удар хлыста, как нечто немыслимое, противоестественное. Ему показалось, что он даже и представить себе не мог подобной гнусности. Схватив жену за шею, он ударил ее головой о ножку стола. Она отбивалась, и он волочил ее за волосы по комнате, опрокидывая стулья. Всякий раз, когда она пыталась подняться, он сбивал ее с ног ударом кулака. Стиснув зубы, задыхаясь, он все больше свирепел от дикой и тупой ярости. От толчка стол отъехал в сторону и чуть не опрокинул чугунную печку. Окровавленные волосы прилипли к углу буфета. Наконец, обессиленные, раздавленные всем этим кошмаром, они вновь оказались возле кровати и перевели дыхание: он устал избивать, она была чуть жива от побоев; Северина по-прежнему лежала на полу, а Рубо, на корточках, все еще стискивал ей плечи. Оба тяжело дышали. Снизу по-прежнему доносилась музыка, звучали взрывы смеха – очень звонкого, очень юного.

Рывком Рубо поднял Северину с пола и прислонил к спинке кровати. Он продолжал стоять на коленях, давя на нее всей своей тяжестью; к нему вернулся дар речи. Он больше не бил жену, теперь он терзал ее расспросами, весь во власти неутолимой жажды все узнать:

– Значит, ты с ним спала, шлюха!.. Повтори, повтори, что ты спала с ним... И сколько тебе было тогда лет, а? Небось девчонкой, совсем еще девчонкой была?

Внезапно Северина залилась слезами, рыдания мешали ей говорить.

– Будешь ты отвечать, проклятая?.. А? Тебе, должно быть, и десяти не было, когда ты начала забавлять старика! Верно, для этого скотства он тебя и растил и кормил. Отвечай, проклятая, не то я опять за тебя возьмусь!

Она рыдала, не произнося ни слова, и он, размахнувшись, изо всех сил ударил ее по щеке. Трижды он повторял свой вопрос и, не дождавшись ответа, трижды наотмашь бил по лицу.

– Сколько тебе было лет, шлюха? Говори, говори же!

К чему бороться? Последние силы оставляли ее. А ведь он способен был вырвать у нее сердце из груди своими заскорузлыми пальцами бывшего мастерового. Допрос продолжался; Северина рассказывала все, но была до такой степени раздавлена стыдом и страхом, что ей с трудом удавалось выдать из себя слова, и их едва можно было разобрать. А Рубо, мучимый жестокой ревностью, все больше впадал в бешенство, все сильнее страдал от картин, вызванных ее рассказом, но ему этого было мало, он заставлял жену приводить все новые подробности, сообщать все новые факты. Припав ухом к устам несчастной, содрогаясь от боли, он выслушивал ее исповедь, а она, с ужасом видя занесенный кулак, грозивший обрушиться на нее, все говорила и говорила.

Ее детство, юность, все годы, проведенные в Дуанвиле, проходили перед ним. Где это произошло? В густых зарослях обширного парка? В каком-нибудь укромном закоулке замка? Должно быть, старик имел виды на Северину уже тогда, когда после смерти садовника взял ее в дом и воспитывал вместе с дочерью. Конечно, это началось еще в те дни, когда, завидя его, другие девочки прекращали игры и спешили скрыться, и только она одна, подняв улыбающуюся мордочку, ожидала, чтобы он ласково потрепал ее по щеке. И позднее она потому так бесстрашно смотрела ему в глаза, так уверенно добивалась всего, чего хотела, что уже тогда чувствовала свою власть над ним; а он, такой важный и строгий с другими, подкупал ее своими похабными любезностями! Какая гнусность! Старикашка приучал ее чмокать его в щеку как

деда, жадно наблюдал, как девчонка растет, тискал ее, постепенно растлевал, даже не желая дожидаться, пока она повзрослеет!

Рубо задыхался.

– Сколько ж тебе тогда было? Говори, сколько тебе было?

– Неполных семнадцать.

– Лжешь!

Господи, к чему ей лгать?! В полном отчаянии, вконец обессиленная, она только пожала плечами.

– А где это произошло в первый раз?

– В Круа-де-Мофра.

Он на секунду запнулся, его губы дрожали, перед глазами металось желтое пламя.

– Я хочу знать, что он с тобою сделал?

Она не ответила. Он замахнулся.

– Ты мне неверишь...

– Говори!.. Он ничего не сумел, да?

В ответ она только кивнула. Именно так. И тогда он иступленно стал требовать, чтобы она описала, как это происходило, он хотел знать все, употреблял грубые выражения, подверг ее гнусному допросу. Она только сильнее стискивала зубы и лишь кивком подтверждала или отрицала. Не станет ли им обоим легче, если она все расскажет? Но он еще больше страдал от подробностей, которые, как она думала, смягчали ее вину. Будь у них обычная, естественная связь, Рубо не так терзался бы. Но этот разврат был ему омерзителен, и ревность, как отравленный клинок, вонзалась в самое сердце. Отныне все кончено, для него нет больше жизни, перед глазами будут неотступно стоять эти отвратительные сцены...

У него вырвалось мучительное рыдание.

– Проклятье!.. Проклятье!.. Нет, нет, это невозможно! Невозможно! Это уж слишком!

И вдруг он снова вцепился в жену.

– Шлюха проклятая, зачем же ты пошла за меня?.. Да понимаешь ли, как подло ты меня обманула? Даже у воровок в тюрьме и то нет такого греха на совести... Стало быть, ты меня презирала, не любила?.. Зачем ты пошла за меня?

Северина только пожала плечами. Она и сама толком не знала, что ответить. Просто была рада выйти замуж, избавиться таким образом от старика. Ведь часто и не хочешь чего-нибудь делать, но делаешь только потому, что так подсказывает разум. Нет, Рубо она не любила; но не могла же она прямо сказать ему, что, если б не эта история с Гранмореном, она бы вовек не согласилась стать его женой.

– Ему, понятно, хотелось тебя пристроить. Вот он и нашел простака... Ему хотелось тебя пристроить и опять приняться за старое. И когда ты ездила туда, вы опять этим занимались? Для того он и звал тебя?

Она снова утвердительно кивнула.

– И на сей раз он приглашал тебя за тем же?.. Стало быть, этому непотребству не будет конца? Если я тебя не придушу, все начнется сызнова!

Его сведенные судорогой пальцы вновь потянулись к ее горлу. Но тут она возмутилась:

– Пойми, ты несправедлив! Ведь я отказалась туда ехать! Вспомни, как ты меня уговаривал, я даже рассердилась... Ты сам видишь, что я этого не хочу. С прошлым покончено. Никогда, никогда больше я на это не пойду.

Он чувствовал, что она говорит правду, но это не принесло ему облегчения. Никакими силами невозможно было изгладить то, что произошло между Севериной и стариком, и это причиняло Рубо такую жестокую боль, словно в груди у него торчал кем-то всаженный нож. Он жестоко страдал от бессилия сделать так, чтобы этого не было. Все еще не выпуская жену, он теперь почти касался лицом ее лица и, как зачарованный, пристально всматривался в голубые

прожилки на ее лбу, будто ища подтверждения тому, в чем она ему призналась. И, точно в бреду, бормотал как одержимый:

– Там, в Круа-де-Мофра, в красной комнате!.. Я помню, ее окно выходит прямо на железную дорогу, а напротив – кровать. И в ней, в этой комнате!.. Понятно, почему он надумал завещать тебе дом. Да, ты его вполне заслужила. Как же ему не позаботиться о твоих деньгах, не дать тебе приданое... Подумать только – судья, богач, миллионер, образованный, важный, живущий в почете! Просто голова идет крутом... А что, если он и вправду твой отец?..

Северина разом вскочила на ноги. С силой, неожиданной в таком хрупком и измученном существе, она оттолкнула мужа. И вне себя от гнева крикнула:

– Нет, нет, только не это! Делай со мной что хочешь. Хоть убей... Но не говори этого! Ты лжешь!

Рубо по-прежнему не выпускал ее руку.

– Что ты можешь знать? Видно, ты и сама это подозреваешь, потому так и возмущаешься.

Она попробовала высвободить руку, и кольцо – золотая змейка с рубиновой головкой – оцарапало ему ладонь. Он сорвал кольцо и расплющил его каблуком в новом приступе ярости. Потом безмолвно, окончательно потеряв голову, принялся ходить из угла в угол. Северина тяжело опустилась на край кровати и следила за ним расширенными глазами. Воцарилось грозное молчание.

Бешенство Рубо не утихало. Едва он начинал приходить в себя, как новая, еще более сильная волна неистового гнева, точно опьянение, накатывала на него, и он чувствовал, что в голове у него мутится. Он больше не владел собою, метался по комнате, размахивал кулаками, казалось, его захлестнул буйный вихрь ярости, и Рубо безвольно подчиняется ему, послушный лишь одной властной потребности – ублажить хищного зверя, беснующегося в недрах его существа. То была острая физическая потребность, свирепая жажда мщения, она сверлила его, и ему не суждено было обрести покой, пока он ее не утолит.

Не останавливаясь, он ударил себя кулаком по голове и пробормотал с тоскою:

– Что мне делать?

Раз он не убил эту женщину тут же, он никогда ее теперь не убьет. От сознания своей подлой слабости Рубо приходил в еще большее неистовство: только из подлости, только потому, что он все еще хочет эту шлюху, он не придушил ее. Но не может же все оставаться, как было. Значит, надо выгнать ее, вышвырнуть на улицу, не пускать на порог? И новая волна отчаяния поднялась в нем, чувство глубочайшего отвращения к самому себе затопило все его существо: он понял, что не сделает даже этого. Что же дальше? Неужели примириться с такой гнусностью, вернуться с этой женщиной в Гавр и продолжать спокойно жить с нею, будто ничего не произошло? Нет, нет! Лучше смерть, лучше умереть обоим, и немедленно! И такая тоска охватила его, что он издал безумный вопль:

– Что мне делать?

Северина все так же сидела на кровати, неотступно следя за ним расширенными глазами. Она испытывала к мужу спокойную дружескую привязанность, и картина его жестоких мук вызвала в ней сострадание. Она способна была простить и грубую брань, и побои, но его слепая ярость повергла ее в такое изумление, что она до сих пор не могла прийти в себя. Мягкая и покорная, уступившая в юности домоганиям старика, а позднее согласившаяся на брак, лишь бы все уладилось, Северина не понимала, как мог вызвать подобный взрыв ревности ее давний проступок, о котором она к тому же сожалела; порок не коснулся Северины, плотские желания почти не тревожили ее, в ней еще оставалось очень много от наивной девушки, вопреки всему сохранившей нравственную чистоту, и потому она смотрела на мужа, который яростно бегал из угла в угол, с таким чувством, с каким смотрела бы на волка, на существо иного порядка. Что в нем творится? Только ли это ярость? Больше всего ее пугало то, что она теперь явно чувствовала в нем зверя, которого все эти три года подозревала и который лишь изредка заяв-

лял о себе глухим рычанием; и вот он взбесился, сорвался с цепи, готов впиться зубами. Что сказать, как помешать беде?

Мечась по комнате, Рубо то и дело оказывался у кровати, возле Северины. Она каждый раз ждала его приближения и наконец осмелилась заговорить:

– Послушай, дорогой...

Но он, не обращая на нее внимания, устремлялся в противоположный угол комнаты, словно соломинка, подхваченная вихрем.

– Что мне делать?.. Что мне делать?

Собравшись с духом, она схватила его за руку и на мгновение удержала.

– Посуди сам, я же отказалась поехать... Я больше туда в жизни не поехала бы, никогда, никогда! Ведь я люблю тебя.

Она пыталась быть ласковой, притянула его к себе, подставила губы для поцелуя. Но, упав на постель рядом с Севериной, он с отвращением оттолкнул ее.

– Ах, шлюха, теперь ты не прочь... Только что упиралась, тебе не хотелось... А теперь не прочь... чтобы снова забрать надо мною власть? Стоит мужчине на это пойти – и ему вовек не уйти... Спать с тобой? Ну нет! Это отравит мне всю кровь.

Он дрожал. Мысль об обладании этой женщиной, о том, что их сплетенные тела будут содрогаться под одеялом, опалила его огнем. И в мрачных тайниках его плоти, в самой глубине его жгучего и оскверненного желания, внезапно возникла неотвратимость убийства.

– Так знай, чтоб мне самому не подохнуть, если я решусь опять переспать с тобой, надо, чтоб прежде он подох от моей руки... Чтоб он подох, подох от моей руки!

Его голос окреп; повторяя одно и то же, Рубо выпрямился, казалось, эта фраза помогла ему принять решение, и он обрел покой. Рубо замолчал, медленно направился к столу и пристально посмотрел на сверкающее лезвие складного ножа. Машинально сложил его и опустил в карман. Уронив руки, вперив взгляд в пространство, он стоял неподвижно, о чем-то думая. Две резкие складки прорезали его лоб, выдавая внутреннюю борьбу. Словно ища выхода, он подошел к окну, распахнул его и замер, подставив лицо дуновению прохладного вечернего ветерка. Охваченная страхом, Северина поднялась с места; она не решалась ни о чем расспрашивать и только пыталась угадать, что происходит за этим низким упрямым лбом; стоя позади мужа, она молча ожидала, глядя в открывавшийся перед нею простор.

Приближался вечер, вдалеке на темном фоне едва вырисовывались дома, обширную территорию станции окутывал лиловатый туман. Открытое пространство со стороны Батиньоля погружалось в пепельную мглу, в ней постепенно исчезали железные фермы Европейского моста. Последние блики умиравшего дня еще вздрагивали на стеклах больших крытых платформ, устремленных к центру столицы, а внизу уже струился густой мрак. Потом сверкнули искорки – вдоль платформ загорались газовые рожки. Темноту прорезал яркий сноп света – это зажегся фонарь на паровозе поезда, уходившего в Дьепп: вагоны были битком набиты пассажирами, все дверцы уже закрыты, машинист ожидал лишь распоряжения помощника начальника станции, чтобы тронуться с места. Но тут возникло замешательство, красный сигнал стрелочника преграждал дорогу, маленький паровик торопился увести в сторону вагоны, каким-то образом оставшиеся на пути. Тьма сгущалась; в густом переплетении рельсов, посреди верениц неподвижных вагонов, замерших на запасных путях, то и дело проносились поезда. Один отошел в Аржантей, другой – в Сен-Жермен; прибыл очень длинный состав из Шербурра. Сигналы следовали один за другим, слышались свистки, звуки рожков; со всех сторон вспыхивали огни – красные, зеленые, желтые, белые; в неясном сумеречном свете трудно было разобрать, что происходит: чудилось, будто крушение неизбежно, но поезда скользили, почти касаясь друг друга, разбегались в стороны и, точно крадучись, уползали во мрак. Наконец красный сигнал стрелочника погас, дьеппский поезд дал свисток и двинулся. С тусклого неба начали падать редкие капли дождя. Казалось, он будет идти до утра.

Когда Рубо повернулся, его окаменевшее лицо выражало упорство, словно надвигавшаяся ночь окутала и его своим мраком. Решение созрело, план был готов. Взглянув на стенные часы, едва различимые при свете угасавшего дня, он громко сказал:

– Двадцать минут шестого.

И удивился: час, какой-нибудь час, а сколько событий! Можно подумать, что их муки длятся уже долгие недели.

– Двадцать минут шестого, у нас есть еще время...

Северина, не решаясь ни о чем спросить, по-прежнему с тревогой следила за ним. Рубо пошарил в шкафу, достал лист бумаги, склянку с чернилами, перо.

– Садись и пиши!

– Кому?

– Ему... Садись.

Еще не зная, чего он от нее потребует, она инстинктивно шарахнулась в сторону, но он поволок ее к столу и с такой силой усадил, что она покорилась.

– Пиши... «Выезжайте нынче вечером курьерским поездом в шесть тридцать и не выходите из купе до Руана».

Ее рука, державшая перо, дрожала; страх Северины возрастал: неведомая опасность чудилась ей в этих двух простых строчках. Она даже отважилась поднять голову и пролепетала:

– Послушай, что ты собираешься сделать?.. Умоляю, объясни...

Он повторил громко и непреклонно:

– Пиши, пиши.

Потом посмотрел Северине прямо в глаза и без гнева, без брани, но с неумолимостью, которая подавляла и подчиняла ее, сказал:

– Скоро узнаешь, что я сделаю... Но я хочу, чтобы ты это сделала вместе со мной, слышишь?.. Если мы станем действовать сообща, это свяжет нас друг с другом.

Он внушал ей ужас, и она попыталась воспротивиться.

– Нет, нет, я хочу знать... Не стану я писать, пока не узнаю.

Тогда, ничего не говоря, он взял ее руку, маленькую и хрупкую, как у ребенка, и стал медленно, точно тисками, сжимать в своем железном кулаке, как будто решил раздавить. Казалось, он хотел, чтобы вместе с болью в нее вошла его воля. Северина испустила вопль, в душе ее что-то сломалось, она смирилась. Пассивная от природы, так ничего и не поняв, она была вынуждена подчиниться. Покорный инструмент в любви, она стала покорным орудием смерти!

– Пиши, пиши.

И она стала писать, с трудом выводя слова онемевшими пальцами.

– Вот и отлично, молодец, – сказал он, взяв письмо. – А теперь уходи в комнату... Я зайду за тобой.

Он был очень спокоен. Подошел к зеркалу, поправил галстук, надел шляпу и вышел. Северина услышала, как он дважды повернул ключ в замке и вынул его из двери. Совсем стемнело. Некоторое время она продолжала сидеть, напряженно прислушиваясь к звукам, доносившимся снаружи. Из соседней комнаты, где жила продавщица газет, слышался приглушенный жалобный визг: должно быть, там был заперт щенок. Внизу, у Доверней, фортепьяно затихло. Теперь оттуда слышался веселый звон кастрюль и столовой посуды: девушки хозяйничали в кухне, Клер готовила баранье рагу, Софи перебирала салат. А Северина, раздавленная смертельной тоской, которую еще больше усиливала надвигавшаяся ночь, прислушивалась к их смеху.

В четверть седьмого локомотив курьерского поезда, направлявшегося в Гавр, показался из-под Европейского моста; его подогнали и прицепили к составу. Все колеи были забиты, и поезд не удалось поставить под крытый навес главного пути. Он ждал под открытым небом у самого края платформы, переходившей в узкую насыпь; вереница газовых фонарей, окайм-

лявших платформу, убегала вдаль, и на фоне чернильного неба огни казались тусклыми звездами. Дождь недавно прекратился, и воздух пропитывала промозглая сырость, поднимавшаяся с обширной, ничем не защищенной территории станции: в тумане казалось, будто она простирается до слабо мерцавших огоньков в окнах зданий на Римской улице. Необозримое унылое пространство, залитое водой, испещренное кровавыми точками огней, беспорядочно загромождали едва выступавшие из мрака паровозы, одинокие вагоны, разобранные составы, уснувшие на запасных путях; из недр этого моря мглы доносились различные звуки – оглушительное, хриплое, лихорадочное дыхание, пронзительные свистки, напоминавшие отчаянные крики насилуемых женщин, жалобы далеких сигнальных рожков, и все это сливалось с рокошущим гулом соседних улиц. Кто-то громко отдал распоряжение прицепить к составу еще вагон. Локомотив курьерского поезда стоял, выбрасывая из клапана мощную струю пара, она устремлялась вверх, а затем расплзалась, и мельчайшие завитки походили на чистые слезы, растекавшиеся по беспредельному траурному пологу, затянувшему небо.

В двадцать минут седьмого на платформе появились Рубо и Северина. Проходя мимо дамского туалета возле зала ожидания, молодая женщина отдала ключ от комнаты тетушке Виктории; муж торопил ее, словно боялся опоздать на поезд, жесты его были нетерпеливы и резки, шляпа съехала на затылок; а она, опустив на лицо густую вуаль, медленно двигалась неуверенной походкой, точно разбитая усталостью. По платформе растекался поток пассажиров, супруги смешались с ним и шли теперь вдоль вагонов, ища свободное купе первого класса. Вокруг все суетились, носильщики катили к головному вагону тележки с багажом, кондуктор помогал разместиться многочисленному семейству, дежурный помощник начальника станции с сигнальным фонариком в руке проверял сцепление вагонов. Наконец Рубо отыскал свободное купе, он уже собирался помочь Северине подняться на подножку, но тут его увидел начальник станции г-н Вандорп, прогуливавшийся по платформе в сопровождении своего помощника г-на Доверня; заложив руки за спину, оба железнодорожника оглядывали вагон, который дополнительно прицепляли к поезду. Мужчины поздоровались, Рубо пришлось задержаться и вступить в беседу.

Сначала поговорили об истории с супрефектом, которая закончилась ко всеобщему удовольствию. Потом обсудили происшествие, случившееся утром в Гавре, о чем сообщил телеграф: у локомотива «Лизон» – его по четвергам и субботам прицепляли к курьерскому поезду, отправлявшемуся из Парижа в шесть тридцать вечера, – сломался шатун; произошло это в ту самую минуту, когда поезд подходил к станции; чинить его будут дня два, и все это время машинисту Жаку Лантье, земляку Рубо, и кочегару Пеке, мужу тетушки Виктории, придется околачиваться без дела. Северина, ожидая мужа, стояла возле купе, не поднимаясь в вагон, а Рубо, беседуя с начальником станции и его помощником, держал себя на редкость непринужденно, громко разговаривал, смеялся. Но вот поезд вздрогнул и попятился на несколько метров: паровоз отодвинул состав к вагону номер 293, который было приказано дополнительно прицепить, ибо потребовалось отдельное купе. Анри Довернь, обер-кондуктор поезда, узнавший Северину, несмотря на густую вуаль, быстро оттащил ее в сторону, так как распахнувшаяся дверца едва не ударила молодую женщину; потом, извинившись, он с любезной улыбкой пояснил, что в салон-вагоне поедет один из членов административного совета Железнодорожной компании, известивший об этом всего за полчаса до отправления поезда. Она без видимой причины нервно рассмеялась, а Довернь в полном восторге поспешил на свой пост: он уже не раз говорил себе, что Северина была бы чудесной любовницей.

Башенные часы показывали двадцать семь минут седьмого. Еще три минуты. Беседуя с начальником станции, Рубо исподтишка наблюдал за выходом из зала ожидания; вдруг он поспешно откланялся и подошел к жене. Вагон отодвинули назад, и им пришлось пройти несколько шагов до своего купе; повернувшись спиной к вокзалу, Рубо подтолкнул Северину, потом, взяв ее под локоть, помог подняться на подножку; она не противилась, но, охваченная

тревожным ожиданием, невольно оглянулась. По платформе торопливо шагал запоздалый пассажир с одним лишь пледом в руках; широкий воротник его толстого синего пальто был поднят, круглая шляпа низко надвинута на брови, в зыбком свете газовых фонарей лица нельзя было разглядеть, виднелась только белая борода. Вандорп и Довернь, вопреки очевидному желанию пассажира остаться неузнанным, все же направились к нему. Они следовали за ним до самого вагона, и только тут, поспешно поднимаясь в свое купе, он кивнул им. Это был он. Дрожа, Северина в изнеможении опустилась на сиденье. Муж безжалостно стиснул ей руку, словно напоминая о своей власти; он ликовал, теперь он был уверен, что осуществит задуманное.

Еще минута, и поезд тронется. Продавец газет назойливо предлагал вечерний выпуск, несколько пассажиров прогуливались по платформе, спеша докурить папиросу. Но вот и они поднялись; кондукторы шли вдоль вагонов, затворяя дверцы. Рубо был неприятно поражен, обнаружив, что купе, оказывается, несвободно, – в углу виднелась какая-то темная фигура, должно быть, женщина в трауре, молчаливая и неподвижная; но когда дверца вновь распахнулась и кондуктор втолкнул тучного мужчину и не менее тучную женщину, которые, тяжело отдуваясь, плюхнулись на скамью, с уст Рубо сорвалось гневное восклицание. Поезд должен был вот-вот тронуться. Снова зарядил мелкий дождь, он заливал окутанную мглой огромную станцию, пронесившиеся взад и вперед поезда – в темноте были видны только их освещенные окна, вереницы светлых движущихся квадратов. Вспыхнули зеленые огни, над самой землей плясали фонари. И ничего больше, ничего, кроме громады мрака, в котором чуть проступали навесы больших крытых платформ, озаренные неясными бликами газовых рожков. Мгла поглотила все, звуки стали глуше, слышалось только мощное дыхание паровоза: продувательные краны были открыты, оттуда вырывались волны клубящегося пара. Белое облако устремлялось ввысь, раскидываясь, точно призрачный саван, и невесть откуда взявшаяся сажа бороздила его черными полосами. Небо потемнело еще сильнее, туча копоты плыла над ночным Парижем, пламенея в зареве его огней.

Но вот помощник начальника станции поднял фонарь – знак машинисту потребовать путь. Послышались два свистка, красный свет у поста стрелочника исчез, его сменил белый. Стоя на подножке багажного вагона, обер-кондуктор ожидал сигнала, чтобы отправить поезд. Машинист дал протяжный свисток, открыл регулятор, паровоз пришел в движение. Поезд тронулся. Сначала ход его был едва заметен, потом он покатил быстрее. Прошел под Европейским мостом и заскользил к Батиньольскому туннелю. Видны были лишь три огня на заднем вагоне – красный треугольник, точно разверстая кровавая рана. Несколько мгновений они еще мерцали в зыбкой ночной мгле. Теперь поезд мчался на всех парах, и ничто уже не могло остановить его... Он исчез.

II

В Круа-де-Мофра, в саду, рассеченном железной дорогой, дом стоит теперь наискось от полотна так близко, что, когда проходят поезда, он вздрагивает до самого основания; всякий, кто хоть раз проезжал здесь, успевает заметить это строение, но, стремительно проносясь в поезде, он ничего о нем не узнает: словно всеми покинутый, дом неизменно заперт, и серые, позеленевшие от дождей ставни наглухо заколочены. И это запустение словно усиливает одиночество затерянного уголка: на целое лье вокруг не встретишь живой души.

Но у обочины дороги, что пересекает рельсовый путь и ведет в Дуанвиль, расположенный в пяти километрах отсюда, прилепился домик путевого сторожа. Приземистый, с потрескавшимися стенами, с замшелой черепичной кровлей, он весь как-то поник, точно бедняк под бременем невзгод; в обнесенном живой изгородью огороде сооружен большой колодец, по высоте почти не уступающий дому. Шлагбаум установлен как раз на полпути между станциями Малоне и Барантен, в четырех километрах от каждой. Впрочем, переездом пользуются редко, и старый полусгнивший брус поднимается лишь для того, чтобы пропустить ломовые телеги из Бекурской каменоломни, находящейся в лесу, километрах в двух отсюда. Трудно вообразить более глухую дыру, более безлюдное место: длинный туннель, идущий в сторону Малоне, закрывает дорогу, и в Барантен ведет только узкая тропинка вдоль железнодорожного полотна. Так что постороннего тут не часто встретишь.

В тот очень теплый, пасмурный вечер какой-то путник, сошедший в Барантене с гаврского поезда, шел быстрым шагом по тропинке в Круа-де-Мофра. Вся местность здесь избороджена долинами и покрыта холмами, железная дорога то взбегает на косогор, то ныряет в низину. Рядом с ней послушно бежит тропинка, и эти постоянные подъемы и спуски делают ее неудобной. Из-за безлюдья места тут кажутся особенно пустынными; скудные известковые земли остаются необработанными, вершины холмов покрыты лишь редкими купами деревьев, а в узких лощинах одиноко журчат ручьи, осененные плакучими ивами. Попадаются тут и меловые холмы, уже и вовсе голые; длинной цепью растянулись бесплодные пригорки, словно навеки скованные мертвым молчанием. Путник, молодой сильный малый, ускорял шаги, будто хотел поскорее удалиться из этого сумрачного и унылого края.

В огороде возле дома путевого сторожа черпала воду из колодца рослая девушка лет восемнадцати, с толстыми губами, большими зеленоватыми глазами, низким лбом и тяжелыми светло-русыми волосами. Она не была красивой, у нее были широкие бедра и крепкие, как у парня, руки. Заметив путника, спускавшегося по тропинке, она выронила ведро и кинулась к решетчатой калитке в живой изгороди.

– Эй, Жак! – крикнула она.

Он поднял голову. То был молодой человек лет двадцати шести, высокий, смуглый, с темными вьющимися волосами, с красивым круглым и правильным лицом, которое портила только слишком тяжелая челюсть. Густые и шелковистые черные усы подчеркивали матовую бледность его лица. Гладко выбритые, нежные щеки придавали ему вид буржуа, но профессия машиниста уже наложила на него неизгладимый отпечаток – руки пожелтели от смазочного масла, хотя и были небольшие и пухлые.

– Добрый вечер, Флора, – сказал он просто.

Но его большие черные глаза, усеянные золотистыми точками, сразу померкли, словно подернулись желтоватой дымкой. Веки дрогнули, и он отвел взгляд в сторону, ощутив какое-то мгновенное замешательство, неловкость, явно причинявшую ему страдание. Он даже непроизвольно отпрянул.

Флора не двигалась и смотрела прямо на него; она уловила эту дрожь, каждый раз охватывавшую его в присутствии женщины, дрожь, с которой он старался справиться. Лицо ее

стало серьезным и печальным. Стараясь скрыть смущение, Жак спросил у девушки, дома ли ее мать, хотя знал, что та больна и не выходит на улицу; Флора молча кивнула и отошла в сторону, чтобы он мог пройти, потом, не говоря ни слова, горделивой походкой направилась к колодцу.

Быстрым шагом Жак пересек неширокий огород и вошел в дом. В просторной кухне – одновременно она служила столовой и жилой комнатой – одиноко сидела тетушка Фази, так он с детства привык называть мать Флоры; она откинулась на спинку соломенного стула, ноги ее были укутаны старой шалью. Тетушка Фази, урожденная Лантье, доводилась двоюродной сестрой его отцу: Жак был ее крестник, и она воспитывала мальчика с шести лет, после того как его родители неожиданно уехали из Плассана в Париж; позже она определила Жака в ремесленную школу. Он навсегда сохранил к крестной глубокую признательность и говорил, что только благодаря ей твердо стал на ноги. Жак два года прослужил на Орлеанской железной дороге, а потом стал машинистом первого класса Западных железных дорог; тем временем тетушка Фази вторично вышла замуж за путевого сторожа Мизара и вместе с двумя дочерьми от первого брака поселилась в этой забытой всеми дыре – Круа-де-Мофра. Ей было всего сорок пять лет, но, прежде красивая, рослая и сильная, она выглядела теперь шестидесятилетней старухой: исхудала, пожелтела, и ее все время бил озноб.

У женщины вырвался радостный возглас:

– Как, это ты, Жак!.. Ах, крестник, как я рада!

Он расцеловал ее и пояснил, что у него вынужденный отпуск на два дня: утром, когда он привел поезд в Гавр, у его машины «Лизон» неожиданно сломался шатун; ремонт займет не меньше суток, и ему надо быть в Гавре только на следующий день к вечеру – курьерский поезд уходит в шесть сорок. Вот ему и захотелось обнять крестную. Он тут заночует и выедет из Барантена в семь двадцать шесть утра. Держа в руках исхудавшие руки тетушки Фази, Жак говорил о том, как его встревожило ее последнее письмо.

– Да, малыш, мне худо, так худо, что дальше некуда... Какой же ты молодец, угадал, как я по тебе соскучилась! Я-то знаю, ведь ты занят, оттого и не звала. Но вот наконец ты здесь, а у меня так тяжело, так тяжело на душе!

Она умолкла и испуганно посмотрела в окно. Уже смеркалось, но в сторожевой будке по ту сторону полотна можно было различить мужа тетушки Фази, Мизара; такие дощатые будки отстоят друг от друга на пять-шесть километров и поддерживают между собою телеграфную связь: эта связь обеспечивает безопасность движения поездов. Мизар был путевым сторожем, шлагбаум обслуживала его жена, а со времени ее болезни – Флора.

Словно боясь, что муж услышит ее, тетушка Фази понизила голос и с дрожью сказала:

– Помяни мое слово – он мне яд в пищу подсыпает!

Услышав такое признание, Жак вздрогнул от изумления; он тоже посмотрел в окно, и его черные глаза опять померкли, словно подернулись желтоватой дымкой: они потускнели, плясавшие в них золотистые точки погасли.

– И что это вы придумали, крестная! – пробормотал он. – Ведь он такой смирный, такой тщедушный.

Промчался поезд, направлявшийся в Гавр, и Мизар вышел из будки, чтобы красным сигналом перекрыть путь. Пока он нажимал на рычаг, Жак внимательно рассматривал его. Чухлый, низкорослый мужчина с редкими бесцветными волосами и жидкой бороденкой, с жалким изможденным лицом. Всегда молчаливый, незаметный и тихий, раболепствующий перед начальством... Но вот путевой сторож снова вошел в деревянную будку – отметить время прохождения поезда и нажать две электрические кнопки: одна извещала пост, расположенный позади, что путь свободен, другая предупреждала пост впереди о приближении поезда.

– Да ты его просто не знаешь, – продолжала тетушка Фази, – уверяю тебя, он подмешивает мне какую-то пакость... Сам посуди, я была такая здоровая, что могла его одним щелчком убить, а сейчас этот сморчок, это ничтожество исподволь убивает меня!

Больная вся дрожала от глухой злобы, к которой примешивался страх; довольная, что отыскался наконец человек, готовый ее выслушать, она изливала душу. И о чем только она думала, когда решилась вторично выйти замуж за этого угрюмого скрягу без гроша за душой? Ведь она была пятью годами старше его и с двумя дочками шести и восьми лет на руках. Уже скоро десять лет, как тетушка Фази столь удачно устроила свою жизнь, и не было с тех пор часа, когда бы она горько не раскаивалась: до чего жалкая доля – прозябать в этой холодной пустыне, в этой дыре, где вечно мерзнешь, где можно подохнуть со скуки и нет даже соседки, чтобы словом перекинуться! Когда-то Мизар был укладчиком пути, а затем сделался путевым сторожем с окладом в тысячу двести франков в год; ей же самой положили пятьдесят франков за обслуживание шлагбаума; теперь этим занята Флора; так нынче, то же самое – завтра, и ничто иное их не ждет впереди, будут тянуть лямку, пока не околеют в этом логове, за тысячу лье от людей. Тетушка Фази умолчала, правда, о тех утехах, которым она предавалась до болезни; муж ее в то время еще работал на укладке шпал, и она целые дни оставалась с дочерью в домике у переезда; слава о ее красоте разнеслась по всей линии – от Руана до Гавра, и инспектора железной дороги по пути заезжали к ней; не обошлось даже без соперничества: случалось, что, охваченные служебным рвением, сюда наведывались и инспектора соседней дистанции. Муж не был помехой – неизменно почтительный со всеми, он неслышно скользил по дому, уходил, возвращался и ничего не замечал. Но потом эти развлечения кончились, и вот уже долгие недели и месяцы она неподвижно сидит на стуле, в полном одиночестве, чувствуя, как с каждым часом жизнь мало-помалу уходит.

– Говорю я тебе, – повторила она в заключение, – он крепко взялся за меня и сведет в могилу, даром что его от земли не видать.

Резкий звонок заставил ее снова с опаской взглянуть в окно. Соседний пост предупреждал Мизара о поезде, направлявшемся в Париж; рычажок аппарата, укрепленного перед окном будки, принял нужное положение. Путевой сторож остановил звонок и, выйдя к полотну, дважды протрубил в сигнальный рожок. Флора тем временем опустила шлагбаум и замерла рядом, подняв флажок в кожаном футляре. Послышался все усиливавшийся грохот курьерского поезда, пока еще скрытого за поворотом. И вот он промчался, как молния, а поднятый им вихрь до основания потряс низкий домик, словно угрожая унести его с собой. Флора возвратилась к своим овощам, а Мизар, перекрыв сигналом путь за прошедшим поездом, нажал на рычаг, чтобы убрать красный сигнал с противоположного пути, – новый продолжительный звонок, сопровождаемый движением другой стрелки на сигнальном аппарате, дал ему знать, что прошедший пятью минутами раньше состав уже миновал следующий пост. Мизар снова вошел в будку, предупредил соседние посты, отметил время прохождения поезда и погрузился в ожидание. Изо дня в день одно и то же – по двенадцать часов подряд! Он никуда не отлучался из будки, здесь ел, здесь пил, за всю жизнь не прочел и трех газетных строк, и казалось, ни одна мысль ни разу даже не возникала за его низким скошенным лбом.

Жак, в свое время подшучивавший над крестной, говоря, будто она производит страшные опустошения в рядах инспекторов, с усмешкой произнес:

– А может, он вас просто ревнует?

Но та только пренебрежительно пожала плечами, хотя невольная улыбка и промелькнула в ее поблекших усталых глазах:

– Ах, милый, что ты болтаешь?.. Ревнует! Да он всегда плевал на все, что не бьет его по карману.

Ее снова охватил озноб.

– Нет-нет, Мизара это никогда не трогало. Его занимают только деньги... Мы, видишь ли, и повздорили из-за того, что я не захотела отдать ему в прошлом году тысячу франков, доставшуюся мне в наследство от отца. Он пригрозил, что это принесет мне беду, и вскоре я заболела... С той поры, да, с той самой поры хворь ко мне и привязалась!

Молодой человек понял, но, зная, что больные нередко одержимы мрачными мыслями, попытался разубедить ее. Но в ответ она упрямо качала головою с видом человека, уверенного в своей правоте. В конце концов он сказал:

– Ну что ж! Если вы хотите с этим покончить, есть простой выход... Отдайте ему свою тысячу франков.

Порыв негодования поднял ее на ноги. Вне себя от ярости она завопила:

– Мою тысячу франков? Никогда! Пусть лучше я околею... О, деньги спрятаны, надежно спрятаны! Даже если весь дом перевернут, ручаюсь, их не отыщут... Этот проныра тут уж каждый уголок обшарил! Я как-то ночью слыхала – он все стены выстукивал. Ищи! Ищи! Я согласна все вытерпеть, лишь бы и впредь видеть, как у него вытягивается лицо... Поглядим еще, кто первый отступит: он или я. Теперь я все время начеку, ничего не ем, если он хоть пальцем притронулся. А коли мне суждено подохнуть, ну что ж, зато он моими деньгами не попользуется! По мне, пусть лучше в земле лежат!

Звук сигнального рожка опять заставил ее вздрогнуть, и она в изнеможении тяжело опустилась на стул. Мизар, стоя на пороге будки, на этот раз встречал поезд, направлявшийся в Гавр. Несмотря на то что тетушка Фази упорствовала в своем решении не отдавать мужу деньги, она испытывала все возрастающий тайный страх перед ним – страх исполина перед терзающим его насекомым. Издали донесся глухой шум: приближался пассажирский поезд, вышедший из Парижа в двенадцать сорок пять. Вот он вылетел из туннеля, его тяжелое громоыханье раздавалось все громче и громче. Потом он промчался мимо, как ураган, грохоча колесами тяжелых вагонов.

Устремив взгляд в окно, Жак следил за убегавшей вереницей маленьких квадратных стекол, за которыми виднелись сидевшие в профиль пассажиры. Ему захотелось отвлечь больную от мрачных мыслей, и он, улыбаясь, проговорил:

– Крестная, вот вы все жалуетесь, будто в вашу дыру даже бездомная кошка не забредает... А между тем вон сколько людей!

Она сперва не поняла и удивилась:

– Где это ты увидел людей? Ах, ты о пассажирах! Много ли от них проку! Ведь их не знаешь, с ними даже и поговорить нельзя.

Жак по-прежнему улыбался:

– Меня, положим, вы знаете, я тут часто проезжаю.

– Тебя-то я, конечно, знаю, мне даже известно, когда проходит твой поезд, и я стараюсь разглядеть тебя на паровозе. Да ты все мчишься, мчишься! Вчера вот помахал рукой. А я и ответить не успела... Ну, нет, это все не то.

И тем не менее при мысли о живом потоке, ежедневно проносившемся в поездах мимо нее, обреченной на гробовое молчание и одиночество, она погрузилась в задумчивость, не отводя взгляда от железнодорожного полотна, на которое уже опускалась ночь. Когда она была еще здорова, хлопотала по хозяйству, стояла у шлагбаума, сжимая в кулаке флажок, ей никогда не приходили в голову такие мысли. Но с тех пор как она стала целые дни проводить на этом стуле, занятая лишь глухой борьбой с мужем, в ее уме то и дело возникали беспорядочные, смутные и путанные видения. Ей казалось чудным, что вот она живет в этой дыре, затерянной в пустыне, где некому даже душу излить, а между тем, днем и ночью, мимо нее безостановочно едет столько мужчин и женщин, их мчат куда-то несущиеся на всех парах поезда, от которых ее дом дрожит до самого основания. Среди пассажиров были, конечно, не только французы, попадались там и иностранцы, люди из самых дальних краев, потому что теперь никто не может усидеть на месте, и недаром толкуют, будто скоро все народы одним народом станут. Куда уж лучше, все люди как братья и вместе едут вдаль, в волшебную страну! Она не раз пробовала прикинуть, сколько может быть пассажиров в поезде, если считать, что в вагоне их столько-то, но выходило очень уж много, и ей никогда не удавалось довести счет до конца. Порою ей

чудилось, будто она узнает лица пассажиров: вон тот господин со светлой бородкой, верно, англичанин, он каждую неделю ездит в Париж, а вон та дама, маленькая брюнетка, всякий раз проезжает здесь по средам и субботам. Но они проносились с быстротой молнии, она даже не была толком уверена, действительно ли она их видела, все лица расплывались, смешивались, походили одно на другое, различия между ними стирались. Людской поток мчался вдаль, не оставляя даже следа. И при виде этого безостановочно катящегося потока, уносившего в своем течении столько достатка, столько денег, ее охватывала печаль: она думала о том, что эти куда-то спешащие пассажиры знать не знают о ней, об угрожающей ей смертельной опасности, и если муж все-таки уморит ее, поезда по-прежнему будут мчаться мимо, никто даже не догадается, что в этом уединенном доме совершилось преступление.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.